
Константин ФРУМКИН

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА ФОНЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

К 100-летию 1917 года

Понять любое историческое событие очень сложно — и прежде всего потому, что мы научились слишком хорошо и слишком легко извлекать из них любые смыслы. У нас в руках множество концептуальных инструментов, а в литературе множество предшественников — и если начать рассуждать о русской революции 1917 года, то можно потеряться во множестве уже опробованных подходов. Знаток найдет суждения и о религиозном смысле революции, и о ее метеорологических причинах, и ее истолкование как возмездия, преступления, случайности, судьбы, резкого перелома русской истории, и, наоборот, продолжения лучших или худших традиций имперской государственности.

У всякого подхода — своя правота и свои границы применимости. Но кажется, если сегодня мы чем-то отличаемся от современников революции, которые пытались понять ее смысл много десятилетий назад, то прежде всего тем, что мы знаем больше фактов. Долг всякого публициста или философа, который возьмется сегодня рассуждать о революции, — воспользоваться тем, что в его распоряжении имеется уже 100 лет наблюдений. И именно поэтому мы можем сегодня увидеть революцию в контексте, в хронологической и пространственной перспективе. В хронологической — видя те далекие последствия, которые она имела. И в пространственной — видя аналогичные события в других странах. Как в свое время писал Алексис де Токвиль, изучая одну только Францию, нельзя понять французскую революцию. Точно так же и русскую революцию нужно видеть как мировой, планетарный феномен, как элемент множества подобных, как часть огромной, охватывающей весь мир волны и проявление глобальных закономерностей. Может быть, именно так лучше удастся понять и ее «устройство», и ее статус как исторического события.

Под знаком Марса

В 1917 году произошло две революции — Февральская и Октябрьская. Два переворота с полугодовым промежутком между ними образуют как бы чудовищный стык, две половины разводного моста, ведущего в новую эпоху. Февральская завершила «большой девятнадцатый век». Октябрьская начинала «малый двадца-

Константин Григорьевич Фрумкин — российский журналист, философ, культуролог. Автор книг и статей философской и культурологической тематики, в том числе на темы философии сознания, теории фантастики, теории и истории драмы, а также социальной футурологии. Один из инициаторов создания и координатор Ассоциации футурологов.

тый». Февральская революция была сугубо политическим событием, относящимся к европейской истории. Октябрьская знаменовала системные изменения, кроме прочего выводящие Россию в контекст планетарного исторического процесса. Февральскую революцию легко рассматривать как часть идущей весь XIX век трансформации европейских абсолютных монархий в конституционные монархии или республики. Октябрьская была узлом сразу нескольких глобальных трендов, разворачивавшихся в течение XX века по всему миру.

Стоило бы выделить несколько важнейших исторических тенденций, ускорение которых была ознаменовано Октябрьской революцией, — или, точнее, тех тенденций, которые сильнее и ярче всего проявились в порожденном этой революцией социалистическом государстве. И здесь следует сразу указать, что возникшее социалистическое государство действительно было уникальным, новым, небывалым историческим явлением, — которое, однако, возникло не в одиночестве, а вместе и одновременно с целым рядом сходных (хотя и не идентичных) политических режимов, выполняющих сходные социальные задачи.

Прежде всего этого была задача по созданию механизма тотальной мобилизации всех сил государства для ведения войны нового типа. В контексте этой задачи русская революция была порождением Первой мировой войны и стала одним из примеров вызванных этой войной крушений (или трансформаций) политических систем разных стран. Нет нужды напоминать тот факт, что Первая мировая война привела к крушению четырех традиционных монархий-империй: Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской, впрочем, и установление фашизма в Италии хронологически близко к окончанию войны, а военные перевороты в Польше и Португалии произошли еще несколькими годами позже. Как политическое потрясение революции 1917 года — типичное европейское явление, а именно — типичное последствие мировой войны. Но мировая война была не только источником потрясений, но важнейшим «политическим педагогом» — она научила и элиты, и контрэлиты тому, что же является истинной ценностью мировой политики и как именно стоит готовиться к внешнеполитическим бурям. Мобилизационная эффективность традиционных монархий оказалась недостаточно высокой, и вот на их обломках возникли режимы, которые начали готовиться войне с куда большим размахом, серьезностью и ожесточенностью.

Советский режим, который родился не только из Первой мировой, но и из Гражданской войны, перешел к стратегии радикальной милитаризации (подготовки к мировой революции) одним из первых — причем идеологически он перешел к ней раньше, чем у него появились для этого реальные экономические возможности. Впрочем, почти одновременно рядом появились такие воинственные государства, как Италия Муссолини и Польша Пилсудского, — Гитлер присоединился к «клубу готовящихся к войне» одним из последних. И что любопытно, практически одновременно в Японии — без всяких революций и переворотов, а на базе уже существующих политических структур — началось преобразование режима в милитаристский и авторитарный: власть сосредоточилась в руках военных, оппозиционные партии и профсоюзы были запрещены. Впрочем, можно вспомнить, что японская монархия, хотя формально и являлась древнейшей в мире, как политический режим сформировалась в результате модернизационной революции второй половины XIX века.

Создавая современность

Как «режим подготовки к войне» Советский Союз был в некотором смысле типичным режимом межвоенного типа, возникшим под влиянием Первой мировой

войны и предвещающим Вторую мировую. Порожденное революцией 1917 года социалистическое государство разделяло множество общих черт с возникшим тогда же большим числом режимов, которые было принято называть фашистскими или парафашистскими. Все это были режимы милитаристские, мобилизационные, предполагающие высокую степень вмешательства государства в экономику, патерналистские по отношению к населению и крайне идеологизированные.

Однако если бы дело ограничивалось только военной мобилизацией, то революция 1917 года осталась бы феноменом европейской истории. Но Октябрьская революция послужила вехой для еще одной важнейшей тенденции — ускоренной, догоняющей модернизации, которая в сфере экономики проявлялась прежде всего как ускоренная индустриализация, а за ее пределами — как ускоренное решение многих связанных с индустриализацией и урбанизацией задач, таких, как создание системы массового образования или новых градостроительных решений для ускоренно растущих городов.

И тут Октябрьская революция встает в один ряд с целым рядом революций, преследующих цель ускорить модернизацию своих стран, в частности, революций, произошедших почти одновременно с Октябрьской: Кемалистской революции в Турции, начавшейся в 1918 году, Мексиканской революции, завершившейся — интересное совпадение — в 1917 году, и китайской Синьхайской революции 1911 года.

Разумеется, ни про один из этих переворотов нельзя сказать, что они «начали модернизацию». Во всех этих странах политика ускоренной модернизации, подгоняемая военным соревнованием с передовыми западными державами, началась гораздо раньше. Ускоренная модернизация была важнейшей частью политики и русских императоров, и султанского правительства Турции (тем более в Турции еще в 1908 году прошла менее радикальная и пощадившая монархию младотурецкая революция), и императорского Китая, и свергнутого в ходе Мексиканской революции правительства диктатора Порфирио Диаса. О каждом из этих потрясений в той или иной степени можно сказать то, что Алексис де Токвиль сказал о Великой французской революции: многие якобы порожденные революцией важнейшие преобразования начали проводиться еще королевской властью за много десятилетий. Но модернизация — это опасный, порождающий раскол в обществе, чреватый эксцессами, турбулентный процесс, и он не может не затронуть политической системы.

Прежде всего, устроители революций хотели избавиться от последних рецидивов традиционного общества, которые, на их взгляд, замедляли развитие. Кроме того, новые, постреволюционные режимы делали модернизацию не просто составной частью политики, но центральной и идеологической задачей. Наконец, революция означала, что пытается модернизироваться и сама политическая система. Формально политической целью революции была демократия, она почти никогда не достигалась, но это не означало, что политический строй государств в ходе тех модернизационных переворотов не был обновлен. В частности, одним из последствий революций начала XX века стало появление такой не виданной доселе формы правления, как однопартийная диктатура, обеспечивающая политическую преемственность не по принципу родства, как монархия, но и без разрыва легитимности, как единоличная диктатура. И эта форма правления была отнюдь не только советским изобретением, ибо независимо от СССР аналогичные системы были установлены и в Италии, и в Китае, и в Мексике — ну а во второй половине XX века однопартийные правления возникли в десятках стран.

Стоит в этой связи взглянуть на деятельность турецкого лидера Мустафы Кемала Ататюрка, пришедшего к власти в результате Кемалистской — названной по его имени — революции. Его режим был в первую очередь сфокусирован именно на за-

дачах модернизации и преодоления рецидивов традиционного быта, символическим выражением этого стало принудительное — в стиле Петра I — внедрение европейских шляп в противовес традиционным фескам и латиницы в противовес арабской вязи. Именно акцент на модернизацию в ее противостоянии — а не органической связи — с традицией роднит режим Ататюрка с большевизмом. Роднит их, впрочем, и антирелигиозность — разумеется, в турецком варианте куда более мягкая и менее радикальная, чем в российском. Тем не менее атеизм и антиклерикализм — тоже не исключительная черта советского коммунизма, они были свойственны многим модернизационным режимам XX века, и в постреволюционной Мексике деклерикализация проводилась куда более настойчиво и последовательно, чем давно назревшая и бывшая важнейшим лозунгом революции аграрная реформа.

Промышленность как судьба

Разумеется, модернизация и индустриализация были самым тесным образом связаны с милитаризацией, с эпохой мировых войн — и советскую индустриализацию 1930-х годов часто истолковывают как в первую очередь подготовку ко Второй мировой войне. Однако индустриализация — и как составляющая русской истории, и как общепланетарная тенденция — гораздо шире чисто военных задач: индустриализация (в том числе в России) началась гораздо раньше Первой мировой войны и завершилась (там, где завершилась) позже Второй.

В течение советской истории дважды — при Сталине в 1930-х и при Хрущеве в 1950–1960-х годах — СССР демонстрировал уникальные темпы экономического роста. Поэтому одним из важных мотивов в отечественной историософской мысли стала прочная увязка революции 1917 года и позднейшей сверхскоростной индустриализации — и особенно «сталинской индустриализации» 1930-х. Сегодня, однако, имея в распоряжении век наблюдений за российской и мировой экономикой, мы знаем, как минимум, две важные вещи для оценки этой идеологемы.

Во-первых, само по себе наличие «десятилетия сверхбыстрого развития» еще не гарантирует стратегического выигрыша — после десятилетия успехов может последовать и кризис, и катастрофа, и просто снижение темпов. Сегодня, после всех захватывающих дух перипетий XX века, соотношение уровня экономического развития России и ведущих западных стран практически не изменилось: Россия часто обгоняла их по темпам, но затем отставала, соотношение ВВП на душу населения России и США за сто лет в конечном итоге оказалось довольно стабильной величиной. Российские показатели колебались (в разных источниках можно встретить разные цифры) в районе 25 процентов от американского уровня.

Кроме того, выясняется, что сверхбыстрое промышленное развитие государств, которые вступают на путь индустриализации, заимствуют на западе технологии и вовлекают в промышленность дешевое и трудолюбивое сельское население, — это довольно обычный сюжет для XIX–XX веков, через эти «ворота в будущее» прошли многие страны, показав на определенном этапе удивительные темпы роста. Революций для всего этого не требуется. После тех образцов «экономического чуда», которые во второй половине XX века продемонстрировали многие страны Азии, сталинская индустриализация уже перестала кого-то удивлять.

При этом, как обращает внимание китайский экономист Джастин Лин в своей книге «Демистификация китайской экономки», чем позже государство вступает на путь быстрого индустриального развития, тем большие темпы роста ему удастся показать — по-видимому, благодаря простоте заимствований уже имеющихся технологических решений у прошедших этот путь раньше стран.

Поэтому можно быть уверенным, что революция 1917 года не была обязательным условием индустриализации. Развитие промышленности — в том числе ускоренное развитие за счет интенсивного содействие государства — эта в буквальном смысле судьба множества стран, и Россия, так или иначе, этот путь прошла бы. Однако нельзя исключать, что если бы не некоторые особенности возникшего в 1917 году большевистского режима, то наша промышленность выглядела бы иначе. Возможно, соотношение отраслей — в частности, тяжелой и легкой промышленности — было бы более сбалансировано, индустрия была бы более интегрирована в систему мирового разделения труда, в ней были бы меньшая доля ВПК, больший уровень производительности, более тесная связь с рынком, — одним словом, не было бы всех тех широко известных недостатков социалистической экономики, которые привели к тому, что добрая половина советских промышленных предприятий в 1990-х годах мгновенно прекратила свое существование после демонтажа плановой экономики.

И тут мы подходим к третьей глобальной тенденции, проявление которой в российской истории было озаменовано Октябрьской революцией. Это — тенденция политического усиления и торжества левой, социалистической идеологии.

Идеология как материальная сила

Историки идей могут выводить генеалогию социализма с древности — от «Государства» Платона и от утопий Мора и Кампанеллы. Политическим учением, идеологией множества партий и организаций Европы социализм стал в XIX веке. Его популярность росла, круг сторонников расширялся, политические партии становились все более многочисленными, но опыта политической практики, проводившейся от имени левых идеологов и по их рецептам было немного — разве что можно вспомнить финансирование производственных кооперативов во Франции. Однако в XX веке началась эпоха политического торжества социалистов разных мастей — и Октябрьская революция была в этой истории, может быть, самым ярким, но далеко не единственным эпизодом. Социалистическое движение было столь разнообразным и всеобъемлющим, что его влияния не мог избежать ни один значимый политический лидер эпохи. Стоит вспомнить, что почти одновременно с возникновением социалистической России попытки социалистических революций произошли и в Берлине, и в Баварии, и в Венгрии. В это же время начался подъем рабочего движения во Франции и Италии, которое доходило до захвата предприятий рабочими. В это же время в Англии созданная профсоюзами лейбористская партия смогла вытеснить либералов из «двухпартийной системы» и войти в число главных политических сил страны. Ей еще предстояло стать на долгие годы правящей партией Великобритании и начать удивительно радикальные — для этой традиционно консервативной страны — опыты по национализации экономики, прекращены они были только Маргарет Тэтчер в 1980-х годах. Слова «социализм» и «рабочий» были и в названии нацистской партии.

Вообще история XX века — во многом история социалистических экспериментов. Часть из них была связана с СССР и осуществлялась по советскому образцу и под непосредственным — и порою властным — советским влиянием, к их числу можно отнести и коммунистический Китай на ранних стадиях его развития, и социалистические режимы в Восточной Европе, и некоторые из социалистических режимов в Латинской Америке, прежде всего Кубы и Никарагуа. Однако были и достаточно независимые от СССР, ищущие свой путь социалистические режимы — например, под ло-

зунгом «арабского социализма» обширные эксперименты по национализации проводил президент Египта Абдель Насер, а под лозунгом «африканского социализма» сходную политику вел президент Танзании Джулиус Ньерере. Появился «скандинавский социализм», также вплоть до конца XX века предполагавший высокую (хотя и не доминирующую) роль госсектора. А уже в совсем недавнее время, когда, казалось бы, с социализмом всем и все было понятно, лидер Венесуэлы Уго Чавес выступил с лозунгом «социализма XXI века» — так что в его богатой нефтью стране появились товарный дефицит, очереди и угроза массового недоедания.

Безусловно, самой специфической и самой значимой с точки зрения влияния на жизнь людей чертой российского социализма было тотальное огосударствление, и прежде всего огосударствление экономики. Социализм как мировоззрение родился из неприязни к конкуренции, к эксплуатации, к неравенству, он мыслил общество как рационально регулируемую систему — но в условиях, когда единственным создателем такой рациональной системы могло быть только правительство страны, «рациональное общество» означало «общество, регулируемое правительством».

Великий социолог Макс Вебер говорил, что важнейшей тенденцией развития капитализма является рационализация всех сторон жизни, в том числе с помощью бюрократии — социалистические государства оказались доведением этой тенденции до степени абсурда и карикатуры.

Огосударствление создавало особую — и на первый взгляд особо благоприятную среду для решения других исторических задач, добровольно принятых на себя большевистским режимом — милитаризации и модернизации. При тотальной власти государства над всеми сторонами жизни — от экономики до быта — проще всего проводить мобилизацию ресурсов для решения военных задач или реализации особенно значимых модернизационных проектов (прежде всего индустриальных). Социалистическому государству легко контролировать потребление населения — и превращать отнятое у потребителя в инвестиции. Негативные последствия социалистического хозяйствования слишком хорошо известны, чтобы говорить о них подробно, но резонанс между тремя глобальными тенденциями — милитаризацией, модернизацией и господством социализма — объясняет, почему их проявления так органично слились и нераздельно воплотились в советском режиме и почему советская элита на первых порах закрывала глаза на очевидные недостатки системы. Индустриализация создавала базис для наращивания военной мощи, социализм помогал создавать особо эффективные механизмы концентрации ресурсов для индустриализации, а военная мощь в перспективе позволяла реализовать одну из предусмотренных идеологией миссий социализма.

Другие появившиеся после Первой мировой войны режимы «межвоенного типа» — фашистские и парафашистские — не были социалистическими, и это резко отличало от них советский режим. Впрочем, отличало больше на уровне идеологии, чем практики. В то же время хотя межвоенные диктатуры и не были социалистическими, на их происхождении явно лежала черта некой соотнесенности с усиливающимся левым движением, а именно — все эти режимы позиционировали себя как средства спасения своих стран от нарастающей коммунистической опасности, живым примером которой была победа большевиков в России. Иногда — как в случае с Гитлером и Муссолини — эти диктатуры преподносили себя как альтернативу марксистского «левого» варианта социализма — но альтернативу во многом тоже социалистическую — в случае с нацизмом это видно даже по названию.

Социалистическая идеология порождала многие любопытнее коллизии: фашистские режимы не скрывали своей воинственности, в то время как социализм во многих странах был исторически связан с пацифизмом, и большевики — как и мно-

гие их коллеги-социалисты в других странах — во время войны выступали с антивоенными, интернационалистскими и даже прямо пораженческими лозунгами. В юмористическом «Чонкине» Владимира Войновича советский прокурор говорит, что «наш гуманизм носит боевой, наступательный характер» — так и СССР проводил свою внешнюю политику под знаменем боевого, наступательного пацифизма: военные операции назывались помощью восставшим народам, освободительными походами, выполнением интернационального долга. Социалистическая идеология была идеальной маскировкой для внешнеполитической активности: она позволяла дейной экспансии быть преддверием геополитической.

Кроме того, социализм оказался идеальной идеологией для создания идентичности в многонациональном, во многом колониальном государстве, каким была Российская империя. Марксизм стал одной из «скреп», позволивших СССР на несколько десятилетий пережить европейские колониальные империи.

Однако, пожалуй, главным следствием того, что среди всех межвоенных диктатур именно советская возникла под знаменем социализма, стало то, сколь глубокой оказалось огосударствление экономики в СССР.

В поисках альтернативного сценария

В самом по себе вмешательстве государства в экономику нет ничего удивительного. Какое-то вмешательство есть всегда, и в эпоху войн оно нарастает. XX век во многих странах был веком дирижизма и национализаций — в том числе, хотя и не всегда, под социалистическими лозунгами. Некоторые историки выводили генеалогию социализма из традиций азиатских империй, где роль государства всегда была велика, но в любой традиционной азиатской империи, будь это императорский Китай или Персия, все же были купцы, а СССР довел огосударствление до того, что даже сапожники и парикмахеры были сотрудниками госорганизаций, а частный пошив меховых шапок превратился в сугубо подпольный и незаконный бизнес, вроде бутлегерства. В других странах такая глубокая степень огосударствления экономики наблюдалась только в том случае, если правительства эти стран находились под влиянием СССР и брали последний себе в качестве образца. Независимые от СССР формы социализма — как, например, у Насера или Чавеса — все-таки предусматривали хоть какой-то простор для бизнеса.

Почему именно в России впервые в Новой истории произошла столь всеобъемлющая национализация экономики, что любителям исторических аналогий приходилось сравнивать СССР с довольно экзотическими или древними цивилизациями — например, с империей инков — объяснить довольно сложно. Однако на первый взгляд объяснение этого упирается именно в коммунистическую идеологию, принятую новыми правителями страны, именно в их личные социалистические убеждения. Национализаторскими проектами — например, национализацией банков — большевики начали заниматься практически сразу после прихода к власти, и их не останавливало даже то, что слишком радикальные реформы провоцируют вооруженное сопротивление их еще не окрепшему режиму.

Вопрос о «глубине национализации» ставит нас перед одной сложной и скорее философской, чем исторической проблемой: в какой степени революция 1917 года была случайностью и можно было ли ее избежать? Вопрос этот труден именно с точки зрения своей постановки — поскольку в мире причинности само понятие «случайности» темно и относительно, поскольку жизнь такова, какова она есть, и все, что случилось — случилось именно так, а не иначе и не знает сослагательного наклоне-

ния. Тем не менее человеческий разум так устроен, что не может понять смысл события, если не будет выстраивать альтернативных сценариев — могло ли быть все иначе?

Такого рода осмыслением русской революции сегодня интенсивно заняты писатели-фантасты: существует много десятков литературных произведений, в которых изображается другое, воображаемое течение событий русской истории и власть достается то генералу Корнилову, то Троцкому, то даже тандему Ленина и Николая II. Но что можно сказать об альтернативах в отношении подлинной исторической реальности? Наверное, под случайностью здесь следует понимать события, которые не случились бы, если бы некая воображаемая сила внесла сравнительно небольшое изменение в существовавший в 1917 году расклад сил — например, убрала бы ключевого политика, Ленина или Керенского. Чем менее значительного воздействия будет достаточно для изменения хода революции, тем более «случайной» будет она казаться. Глобальные тенденции в любом случае найдут политиков для своей реализации — и какая-то модернизация, с Лениным или без, со Сталиным или без, в России все равно произошла бы.

В естественных науках исчисление вероятностей имеет понятный смысл тогда, когда мы можем провести большое число экспериментов. К сожалению, повторить многократно русскую революцию в сотнях параллельных реальностей, слегка меняя исходные условия в каждой из них, невозможно. Есть однако, эрзац подобного фантастического эксперимента: наблюдать за многочисленными странами, в которых происходили события если не абсолютно сходные с российскими, то, по крайней мере, по многим параметрам подобные российским. И если считать опыт других стран информативным и для России, то можно уверенно сказать, что какой-то вариант политической трансформации в России наверняка произошел бы, поскольку во множестве стран после Первой мировой войны стали возникать режимы, представляющие собой единоличные или однопартийные диктатуры, конструирующие новую идентичность за счет новаторских идеологий, мобилизующие ресурсы на реализации важных проектов, обеспечивающие высокую степень вмешательства государства в экономику, акцентировавшиеся на модернизацию и, часто, милитаризацию. И в Европе, и в Юго-Восточной Азии, и в арабском мире, и в Латинской Америке в течение всего XX века с революцией или без формировались подобные режимы и шли сходные трансформации. Поэтому что-то подобное большевизму в России наверняка бы было.

Именно поэтому крайне маловероятно, что в России могла бы установиться устойчивая демократия «февральского» образца — рано или поздно она бы рухнула, как рухнула Веймарская республика в Германии, хотя причиной этого крушения могли бы быть и восстание, и военный переворот, и политика законно избранного президента.

Тем не менее далеко не факт, что власть бы досталась именно большевикам: эсеры ведь имели большинство в Учредительном собрании. Также не факт, что модернизационная диктатура в России обязательно была бы социалистической по идеологии. Вполне мыслим вариант, скажем, некоего «белогвардейского фашизма». Подобная версия, например, обсуждается в фантастическом романе Дмитрия Казакова «Черное знамя», где русские фашисты, сначала принявшие активное участие в подавлении большевистского путча в 1917 году, захватывают власть под лозунгами евразийства. В этой связи, рассуждая о судьбах русской монархии, можно предположить не только ее свержение или сохранение в демократических конституционных формах, но и вариант «русского сегуната», когда император был бы декорацией при исповедующем монархическую идеологию диктаторе. Такова была судьба короля Италии при Муссолини — ну а в Венгрии и Испании диктаторы

объявили свои страны королевствами, не выбрав конкретного короля и превратив королевские престолы в конституционные абстракции.

Имело бы большое значение то, что модернизационная диктатура, которая бы возникла в России, не была бы именно коммунистической? При всей иррациональности этого вопроса можно взять на себя смелость предположить, что в этом случае бурный XX век прошел бы в России чуть более мягко и не так кроваво. В пользу этого имеются несколько аргументов. Сам по себе отказ от тотальной национализации экономики означал бы менее радикальное реформирование всех сторон жизни, а значит, и менее катастрофический ход истории. Кроме того, несоциалистическое (или умеренно социалистическое) правительство не имело бы столь радикальных планов, связанных с социальной структурой населения: перед ним не стояли бы задачи полного вытеснения или уничтожения целых классов и сословий. В силу этого куда большее число образованных людей с «дореволюционной» подготовкой осталось бы в элите, в государственном аппарате и, что особенно важно, в судебной системе. Это давало бы надежду, что террор в истории России не носил бы столь массового и притом иррационального характера.

«Колонизаторы» и «туземцы»

Деградация судебной системы — одно из самых ужасных последствий революции, и оно безусловно связано с процессом системного отторжения большевистским государством дореволюционной интеллигенции, представителей прежних правящих классов — и в том числе дореволюционных юристов. Этот факт напоминает нам, что революция ознаменовала усиление еще одной глобальной тенденции — связанной с модернизацией процесса ротации элит.

Демократизация правящего класса — несомненно один из системных трендов Нового времени. Великая французская революция прошла под лозунгом «пробуждения» третьего сословия, которому было суждено потеснить дворянство и церковь. В XIX веке буржуазия теснила аристократов, разночинцы — дворян, а в XX веке началось вовлечение в политику более демократичных слоев. В Англии рабочие сначала получили право голоса, а затем смогли послать в парламент выходцев из своей среды. Фигуры внука крестьянина Адольфа Гитлера и сына кузнеца Бенито Муссолини знаменовали собой не только наступление тоталитаризма, но и тот факт, что человек без университетского диплома может войти в число ведущих политиков. В США появились политики-негры. Особый характер этот же процесс приобрел в бывших колониях после их освобождения — там он был связан с отторжением любых выходцев из стран-метрополий, их потомков или связанных с ними «коллорационистов». Сам процесс индустриализации предполагал усиление социальных лифтов: новая экономика требовала массовой подготовки квалифицированных специалистов или хотя бы грамотных рабочих, миллионы людей переезжали из деревни в город, получали образование, становились учителями, врачами, инженерами или чиновниками, а кому-то удавалось сделать и политическую карьеру. Это был общемировой процесс.

События, последовавшие в России после русской революции, означали не начало этого процесса, но его резкое ускорение и придание ему катастрофической формы. Речь шла уже не только о том, чтобы подготовить большое число новых инженеров, но и о том, чтобы в короткие сроки устранить всех старых — не только сознательно, но просто спровоцировав их эмиграцию, резко ухудшив качество жизни. Культурный слой дореволюционного российского общества был в считанные

десятилетия уничтожен едва ли не полностью: кто-то эмигрировал, кто-то репрессирован, кто-то был оттеснен на периферию общества. Этот чрезмерно жестокий подход к старой элите заставляет сегодня сравнивать Россию с бывшими колониями — старая элита находилась в бытовой и чуть ли не языковой изоляции, подобно белым людям среди дикарей, и была изгнана, как только «колония» обрела свободу. Вместе со странами, освободившимися от колониальной зависимости уже во второй половине XX века, постреволюционная Россия резко уменьшила уровень политической, управленческой, правовой культуры — и причина этого заключалась в отторжении прежней, «колонизаторской» элиты. Хотя представление о России как о стране, которая стала колонией своего собственного государства — на чем настаивает автор книги «Внутренняя колонизация» Александр Эткин, — вряд ли может быть принято буквально, но некоторые аналогии между Россией и «освободившимися колониями» явно просматриваются.

А среди последствий этого — придание правосудию индустриального, конвейерного характера, когда вместо индивидуального разбора вины всякого человека карательные органы оперируют большими планами по количеству расстрелов и арестов. Такова цена, которую быстро модернизирующееся государство заплатило за слишком глубокий разрыв культурной преемственности.

Революция кончилась — революция продолжается?

Советский проект имеет четко фиксированные временные границы. Он родился в результате Октябрьской революции 1917 года и завершился с распадом СССР в 1991 году. За это время те глобальные тенденции, которые обрели ураганную силу в послереволюционной стране, практически исчерпали свою повестку. Эпоха мировых войн закончилась, в Европе наступил мир, ядерное оружие установило верхние границы для эскалации международной напряженности, число военных конфликтов по всему миру снизилось. Модернизационная повестка для России была в значительной части также исчерпана: индустриализация сменилась постиндустриальной фазой развития, системам образования и здравоохранения чисто количественно уже было некуда расти, большая часть населения уже жила в городах. Социализм был проверен на практике, дискредитирован в глазах многих и, по крайней мере для сферы экономики, признан малополезным. В некотором смысле СССР распался, поскольку выполнил свою миссию, и у него — с исторической точки зрения — не осталось работы. И, увы, поскольку завершилась индустриализация, то и социальные лифты стали работать все хуже, и ротация элит замедлилась — брежневский застой сменился застоєм XXI века.

Однако вполне возможно, что в мировом масштабе процесс вовлечения широких слоев населения в политику продолжается, благо этому помогают развитие Интернета, мобильных гаджетов и сетевых технологий. Проявляется это и, в частности, в многочисленных майданах, в «цветных революциях» и «арабской весне». Возможно, одним из последствий этого является так называемая «популистская волна», когда во многих странах мира активизируются антилиберальные политические движения, взявшие на вооружение самые простые, понятные наиболее необразованным избирателям, а потому обычно агрессивные лозунги. В Европе такие политики называются обычно правыми, хотя в Латинской Америке у партий с аналогичной повесткой репутация левых. Активизации популистов способствует и мировой кризис 2008—2009 годов, и тот факт, что значительные сегменты общества во всех

странах чувствуют себя ущемленными последствиями глобализации — их работа достается иностранным государствам и мигрантам, хотя в этих же странах многие и выиграли от глобализации.

Популистская волна включает такие разные политические феномены, как Дональд Трамп в США, Норберт Хофер в Австрии, Ярослав Качиньский в Польше, Уго Чавес в Венесуэле, Эрдоган в Турции, всенародно избранный но быстро свергнутый президент Египта Мухаммед Мурси, «Национальный фронт» Марин Ле Пен во Франции, голосование за выход из ЕС в Великобритании и еще множество политиков, о которых слышишь мимоходом. Режим Владимира Путина приобрел черты подобного популистского движения «задним числом» — ведь он не был популистским по обстоятельствам своего возникновения. Идеология этих движений будет определяться обстоятельствами — это будет борьба с миграцией в Европе, национализм в Турции, исламизм в Египте, неопределенный ностальгический патриотизм в России. Поскольку модернизация завершилась, речь часто встает о религиозном возрождении — об этом мы слышим и в России, и в Турции, и в арабских странах. Европейские правые и латиноамериканские левые в равной степени эксплуатируют темы антиамериканизма, повышения вмешательства государства в экономику и социальной поддержки населения. Но стремление опереться на низовые, наиболее бедные слои населения придает им всем особый «демократический» стиль — хотя политики этого типа часто враждебны демократическим институтам. И поэтому мы не знаем, куда ведет эта волна — в частности, приведет ли она к свертыванию политической демократии в десятках стран или является преддверием некоторой более широкой демократизации, предполагающей реальное участие в политической жизни миллионов людей — в частности, через механизмы «прямой» и «электронной» демократии. Опыт революции 1917 года показывает, что нельзя всегда доверять тому, что говорят и думают сами революционеры. Революция — ящик Пандоры, и то, что из него вылетает, становится ясным лишь со временем. Но мы видим, что мир находится в движении, а значит, как было модно говорить в 80-х годах, — революция продолжается.